

Павел
ПАРАМОНОВ

г. Суздаль

Репетитор для попугая

повесть

1

Мог ли представить себе преподаватель литературы и русского языка провинциального техникума, что на шестом десятке лет жизни он станет батраком в богатом доме и будет ночевать «сутки через трое» в сторожке?..

Угнетающее безденежье стиснуло Воронова на вершине его преподавательской жизни. Он любил свой предмет, прекрасно разбирался в творчестве писателей и поэтов, сам писал стихи. Для него работа была отдохновением. Стоило увидеть в кабинете две-три пары заинтересованных глаз, и он уходил в мир творца и выносил оттуда этим заинтересованным глазам красоту и богозвучность русских слов, музыку стиха, живопись прозы. Всего-то две-три пары заинтересованных глаз — и на Воронова находило вдохновение. Но все реже и реже появлялись в аудитории такие глаза. Пришло время «натаскивания». Воронов не мог этого делать. Не мог доносить литературу «в кратком изложении».

Росли цены. Росли долги в семье Вороновых, и жена (сокращенный преподаватель химии) однажды измученно выкрикнула мужу: «Ты здоровый, поищи хоть что-нибудь! Хоть что-нибудь, ведь у тебя ребенок!»

Тоска и безысходность разбухали в душе Воронова. Он определил это как синдром Раскольниковца: возвышенные мечтания при окружающей нищете. Он говорил студентам о теории этого загнанного парня, о топоре и процентщице и прикидывал



дни до зарплаты, до этих нищих преподавательских рублишек, которые к тому же еще и не выдадут вовремя. Да и студенты... Каждый второй — Раскольников по нищете. Воронов читал личные дела студентов — у многих один или оба родителя безработные, а на стипендию можно прожить от силы неделю.

«Человеческая жизнь — наивысшая ценность», — говорил он. «Сейчас она ломаной копейки не стоит!» — хотелось добавить, но это было бы не педагогично.

«Зачем мне литература? — спросил однажды раздраженно паренек со второго курса. — Я специальность пришел получать, а все эти Пушкины, Толстые мне не нужны. Они мне платить не будут...»

Студенты, за редким исключением, ничего не читали и не хотели читать. Они просили показать пальцами толщину книги и заявляли, что такой объем им осилить некогда, они перегружены спецпредметами. Они брали «Русскую классическую литературу» в кратком изложении и ломаным, словно переводным языком пересказывали сюжеты.

Бороться с этим было невозможно, злиться и ставить двойки бесполезно. Шел девятый вал литературно оскопленной молодежи.

Вчера на уроке паренек с фиолетовыми волосами (он третий раз за месяц менял цвет волос), наведенными бровями, серьгой в ухе, шепеляво, посверкивая камушком, вколотым в язык, высказал назревшую в его голове мысль, что литература — «лажа», а фэнтези — это прикольно.

«Бежать! А куда?» — мелькнуло тогда у Воронова. Преподавателям везде платили как объектам изуверского социального опыта: с какой суммы они начнут возмущаться, роптать, выйдут на улицы или, униженные и оскорбленные, замолчат окончательно и будут ждать чего-то. Ему ведь тоже временами казалось, что он проживает сейчас период в жизни, который ему не важен, не нужен, и необходимо его быстрее проскочить, чтобы начать жить по-хорошему, по-правильному, и что вот-вот этот плохой период кончится и начнется главная, нужная жизнь. Но этот проходной период тянулся днями, вытягивался в месяцы, вызревал в годы, жизнь утекала, он уже не вырослел, а старел, и приходила паническая тоска.

Воронов искал работу, более-менее достойную, но все притертые места были заняты, и тут совершенно случайно, как это часто бывает на Руси, все решилось за бутылкой водки. Воронов выпивал редко, а тут — давний товарищ, слово за слово. Он работал начальником охраны в частном предприятии, обещал подействовать, и Воронову предложили место третьего охранника частного особняка в центре города. Зарплата в три раза больше его преподавательской и есть возможность совмещать эти две работы.

2

Началось в старом городе новорусское домостроительство. Иностранно выпячивались на древних избяных улицах бетонно-кирпичные особняки стиля, не классифицированного еще градостроительной наукой. Здесь прикалывала славянское небо игольчатая готика, кудрявилась ампириная завитушная лепнина, к тугим бокам особняков приживлялись широкие, словно танцевальные, площадки, застекленные веранды. Выделялись в стенах окна, оконца и окошечки, неведомо для каких целей предназначенные. Фундаменты домов и основания заборов утеплялись булыжниками, вмиг ставшими ходовым и дорогим строительным материалом — их продавали самосвалами на вес. Добывали булыжники в исчезнувших селах на местах разрушенных церквей.

Впрочем, один дурномудрый градоначальник повелел выворотить булыжники из старинной мостовой и заасфальтировать эту часть дороги. Зашумели патриоты городка и задумку градохозяйина приостановили, но вышарканные десятками поколений горожан старые камни исчезли. Местная милиция их искала, но не нашла. А булыжники эти вгнездились в свежий песок на дорожках усадьбы за непроглядным забором очередного новорусского помещика, отхватившего кус земли в центре городка.

Внутренности таких усадеб поражали своей кичливостью и потугами на оригинальность. Художественнаяковка, мрамор, дерево, длинношерстные ковры, кожаная мебель, а по углам цеплялись за глаза старые обшарпанные

сундуки, сколоченные из досок бывших больших икон, с коваными накладками, обклеенные внутри старыми газетами и облигациями государственного займа. Тут же неожиданно — прятка, деревянная, волнистая стиральная доска, патефон ручной заводки с горластой ребренной трубой, пишущая машинка «Ундервуд» с половиной утраченных клавиш. На стенах фотографии царского времени, на них гордо и торжественно держали свои головы люди исчезнувшего поколения: окладистобородые, на пробор расчесанные купцы — обособленно и с семейством, мещане в непрямой выходной одежде, девицы из богадельни — платья в кружевных воротничках, строгие, без женских выпуклостей, подростки из реального училища — худенькие фигурки запечатаны в форменные мундирчики. Напряженные, они словно глубоко вдохнули, застыв взглядом на кругляше объектива, и вот уже более ста лет не могут выдохнуть. Военные с шашками и в высоких картузах. Монахи и монашки из местных монастырей. Лица монашек светло и чисто выныривают из черных одежд...

Конечно, они не имели никакого отношения к владельцам этих «просторностей». Они заполняли то бесполезное пространство, присвоенное неведомо зачем, и словно бы оправдывали нынешних хозяев жизни: мол, они совсем не плохие люди, с уважением относятся к нам, ушедшим, а что любят простор и роскошь — ну и ладно: мы жили тесно, скромно, так пусть они вволю поживут...

Конечно, не ведали люди на фотографиях, что окажутся они в этих хоробах случайно: портрет вот этого крутогрудого купца в наборенных хромовых сапогах, как, впрочем, и десятка два других фотографий принесет на продажу хозяйке дома сосед — крепко пьющий мужичок, и хозяйка купит их за клеймо, которое стояло на снимках: «Фотография Соболева 1910 год».

И все старые вещи также были принесены хозяйке окрестными жителями и куплены ею за довольно приличные для городка деньги.

Двор усадьбы выглядел не менее живописно: на стриженной под «ежика» лужайке стояла телега с утраченными деталями. На телеге отрезтаврированный, в заплатках, хомут и дуга с блек-

лым цветным орнаментом. Телега стояла в центре поляны, как памятник. Летом на телеге топорщилась охапка душистого сена, приманивая лошадь, которая околела в конце сороковых годов прошлого века, была ошкурена, а туша сдана на местный мыловаренный заводик...

Чуть в стороне, около березы, державшейся на проволочных помочах (пересадили березу-трехлетку), приютились сани-розвальни, на которых со времен боярыни Морозовой до конца шестидесятых годов прошлого века возили мужики от навоза до свадебных гостей.

Сани имели убогий вид: дерево, из которого они были сколочены, усохло и лоснилось матовой желтизной, словно оскелетившиеся коровьи мослы. Приволок сани по первопутку сухопарый шустрый мужичок с хитрющими глазками. Он привинтил оглобли к багажнику «Москвича»-шестидесятника и на малой скорости приюзил сани к глухим усадебным воротам. Он и стал первым наемным работником (охранником и распорядителем) в усадьбе. Второе заметное дело, которое провернул Аристарх Владимирович (так звали мужичка) в усадьбе, — посадка березы-трехлетки.

С какой колокольни взглянула хозяйка на свою усадьбу и решила, что нужно приживить березу среди таких же совершеннолетних елей, елок и пихт, привезенных из питомников, трудно сказать, но такое пожелание было высказано Аристарху. Он смекнул, какой поживой тут пахнет, сыграл хитрована, простачка, прижал дыхание и, словно в воду нырнул, бухнул: «Тысяч на пять такая береза потянет: копали, грузовик, бульдозер...» «Бульдозер» вырвался у него для солидности и видимой сложности процедуры. Если подумать, какой дурак березу для вырасту будет корезить бульдозером?

Хозяйка, на удивление, согласилась на пять тысяч.

Аристарх сговорил соседа, мрачно и подозрительно глядящего на белый свет мужика, который, выслушав Аристарха, безрадостно изрек: «Она что, с луны свалилась? Да за такие деньги я ей весь участок березами засажу...»

Конечно, им не надо было объяснять друг другу, что береза в наших местах растет как сорняк: посади ее в чистом поле — и через десяток лет роща вырастет.

Закинули накрутистые опольные ветры березовые живчики на тридцатиметровый пролет колокольни в центре городка — и зашелестел листочками молодой березнячок на исторической достопримечательности. Три года ласкал глаз любителей природы, пока, наконец, кто-то из начальников не понял, что эта примечательность — безобразия. Береза плодovitа, как здоровая русская баба: при хорошей жизни она будет рожать и рожать без всяческих на то указов законодворителей... Это мужики знали, потому и не обсуждали более ничего, а, спешно взяв лопаты, пошли к дороге. В лесополосе облюбовали березку ровную, крепконоую, с кудрявым пушком тонкокорой бересты, высотой в два человеческих роста. Окопали корни с метровым комом земли, аккуратно свернули березу набок, корни с землей обмотали проволоочной сеткой. На самосвале (сотня — шоферу) привезли дерево на усадьбу хозяйки. Посадили березу в заранее уготованную ей яму и закрепили ствол четырьмя проволоочными растяжками — чтобы ветер не уронил...

Воронов услышал эту историю от Аристарха и вскозь отметил, что за березу мужики получили больше его месячного преподавательского заработка...

3

Звали хозяйку усадьбы Алмасарида Абрамовна Завалова — рослая, широкая в кости, ходила она неспешно, слегка косолапо, помахивала сильными, наработанными в молодости кистями мускулистых рук. Лицо у нее было плоское, круглое, взгляд белес, текуч и неуловим: при разговоре она не смотрела собеседнику в глаза, говорила медленно, ровно, но, когда «взрывалась», расслабленное тело ее приходило в движение, речь становилась обрывистой, с неправильным ударением в обиходных словах. В такие минуты она могла наговорить грубостей. Впрочем, она быстро брала себя в руки, курила очередную тоненькую «дамскую» сигаретку, которая в ее толстопалой руке казалось соломинкой, уходила в одиночество, успокаивалась...

Может быть, тройная кровь, смесившись однажды в ее роду, сделала Алмасариду жестокой,

хитрой и стихийной. Как сливаются три речки — с гор, болот и из-под земли, образуя в месте слива непредсказуемую, посекудно меняющуюся водную стихию, в которой и купаться опасно, и пить нельзя...

Алмасарида Абрамовна была барыней в первом поколении. Не было в ее родословной голубых кровей, а были рядовые среднеобеспеченные социалистические евреи, татары и русские. Как они перемешались в роду — один бог ведает. Жили, видимо, без национального самосознания, потому и не сравнивали количество и качество национальной крови в каждой отдельно взятой особи. Было обыкновенное социалистическое детство в фабричном городке с тяжело добытым, но полновесным рублем, который зарабатывали отец с матерью: он — в цеху слесарем, она — медсестрой в профилактории. Школа с огромными окнами и мраморными лестницами — реконструированный особняк бывшего фабриканта. Маленький родительский домик с раскрестьем четырех окошек по фасаду. Комсомолия и техникум советской торговли. Первая несчастная и злая любовь, оборвавшаяся на полузамужестве: жених сбегал сначала на Север, а потом — в армию. Вербовка на Дальний Восток, работа на камчатском рыбозаводе. Ее солнечно-рыжие волосы и черные иудейские глаза полонили капитана рыболовного траулера, и вскорости она приняла фамилию мужа — Завалова. Бравый капитан-рыболов был человеком вольным. Широту свою с океанских просторов он переносил и на твердь земную: был чрезвычайно охоч до женского пола с винцом-пивцом и темными ночами. У Алмасариды рос сынишка, она уже была начальником цеха на том же рыбозаводе и с содроганием ждала суженого из живописных и суровых морских походов. Дома капитан больше двух суток не выдерживал — как мартовский кот, уходил в загул. Возвращался недели через две, осунувшийся, бледный, но с чахоточно блестящими глазами, говорящими о том, что запас блудливой энергии не израсходован до конца. Однажды в завершении многодневного «кошачьего гона» муж доплелся до квартиры мертвецки пьяным. С порога нарочито зашумел носом: с силой втягивал и отчихивал воздух. Вышедшей к нему жене скомкал

одеревенелым языком: «Русалка рыбная, бл*... У тебя из всех щелей чешуя торчит».

У Алмасарида рука словно с курка сорвалась: коротко, по-медвежьи мазнула благоверному изменщику. Голова его гулко отрикошетила от бетонной коридорной стены, и капитан обезноженно рухнул на пол. А утром ничего не помнящий муж помчался в госпиталь, зажимая левое ухо, из которого ночью тонкой струйкой расплосовала щеку кровь. Оказалось, Алмасарида с такой силой вогнала в ухо мужа воздух, что у того лопнула перепонка, и теперь у капитана в оглохшем ухе стоял сплошной шум, как в сбитом с волны радиоприемнике.

Алмасарида без жалости бросила мужа. От его просьбы «начать все сначала» почувствовала мстительную радость, удивилась такому не ко времени возникшему состоянию, но объяснила себе тем, что исподволь, годами накапливала это созревшее теперь и оформившееся в поступок чувство освобождения.

Кто знает, как бы сложилась жизнь Алмасарида, не случись катастрофы, которую назвали «перестройкой». Может быть, повторила бы она судьбу тысяч подобных ей рыборазделочниц: накопила бы денег на кооперативную квартиру и машину и переселилась на Большую землю, куда-нибудь во владими́ро-московскую лесную сторону. Но сын, отслужив положенный срок, поступил в военно-морское училище, а через два года отчислился по причине полного наплевательского отношения к армии расхристанного перестройкой государства, занялся делом, названным тогда, в переломные годы, сладким словом «бизнес» и преуспел в этом. Сначала покупал и перепродавал. Спекуляцию тоже заменили модным словом «предпринимательство». При социализме за спекуляцию сажали, ибо политекономы это явление определили как делание денег из воздуха, а при анархическом безвременье спекуляция стала государственной политикой. Потом Завалов-младший стал перерабатывать сырьё и докрутился до олигарха, пусть не первого ряда, но долларово-богатого. Матушке же приглянулся ресторанный бизнес, и она, приехав в старорусский церковно-купольный городок, построила особняк, перекупила ресторан и стала облагораживать жизнь серой провинции...

Вот такой особняк и должен был охранять Воронов.

Людская — узкая комната с диваном и столиком, в углу — устройство слежения, на экране которого отражается усадьба по периметру. Дежурство — сутки. С утра ставишь чистую кассету — запись видеонаблюдения.

Знакомил Воронова с работой Аристарх: «Главное, чтобы хозяйка не делала замечаний. Любит, когда перед ней открывают калитку кованую, с хитрой электронной шеколдой. Ждать перед дверью не любит».

Зная приблизительно время прихода хозяйки, нужно было неотрывно смотреть в экран и, едва завидев её тяжёлый топ по асфальтированной дороге к особняку, суетиться к двери и распахивать её перед Алмасаридой.

Аристарх довел это действо до совершенства: он словно нутром чувствовал движение хозяйки к дому. Щёткой разметал со двора площадку перед калиткой, протирал бархатной тряпочкой ручку на двери и — шаг в шаг — распахивал калитку перед Алмасаридой. Бывало даже открытие двери совпадало с поднятием тяжёлой Алмасаридиной ноги для шага — так что она не останавливалась перед дверью.

В обязанности охранников также входила работа в усадьбе: летом обметать и обмывать из шланга старинные булыжники на дорожках, полоть и стричь газоны, окапывать кусты, ухаживать за грядами в глубине усадьбы и всякие другие благоустроительные «делания» по желанию хозяйки. Зимой — очистка от снега, украшение дома и деревьев вокруг новогодними гирляндами.

Но Воронову была уготована другая работа...

Попугай сидел в огромной цилиндрической клетке. Это была большая пестроокрашенная птица, одно из уродливых созданий матушки-природы: шипцеобразный тяжёлый клюв на крохотной головке, цепкие ращеперы острых когтей, судорожно вцепившихся в перекладину, угрюмая сутулость в спине.

Попугай перетоптался с лапы на лапу, мед-

ленно поворотил клювастую голову и глянул на шошедих людей каким-то прожигающим, тоскливо-презрительным взглядом маслянисто-блестящего выпуклого глаза. Отвернулся, напряженно двинув желто-красным хвостом, какнул коричневой загогулиной, издал залихватский пронзительный горловой звук, который инородно шархнулся по огромному залу и затерялся в стеллажах с книгами, шторах, мягких постенных диванах и замер.

— Вот это и есть ваша работа, — сказала Алмасарида Воронову. — Быть при нем, читать ему книжки. Я заметила, он любит слушать стихи, плавные стихи. Разговаривайте с ним. Он очень молод и скучает. Я назвала его Сарабан... Можете ночевать в гостевом домике (так она называла людскую). Если возникнет необходимость, подстрижете лужайку, растопите баню, когда будут гости. Но ваша основная работа — учить моего попугая языку...

Впервые Аля — так звали Алмасариду в детстве — увидела попугая в передвижном зоопарке. Тропическое существо, словно деревянное, неподвижно сидело в клетке и смотрело на девочку цветными кругляшками глаз. Аля походила перед клеткой, и ей показалось, что попугай смотрел на нее неотрывно и не мигая. Впрочем, она не знала тогда, мигают ли попугаи. Больше всего ей захотелось иметь дома вот эту птицу. Так она мечтала, но мечта утонула в ворохе прожитых дней и лет и, как это часто бывает, вдруг вытряхнулась из этого вороха совершенно необъяснимо и заставила немедленно исполнить заветное, тем более сейчас она могла приобрести попугая самого-самого, за невероятные для простого люда деньги.

6

До Воронова попугая развлекал огромный плоскоэкранный телевизор, поставленный перед клеткой. Показывались передачи исключительно про животный мир. Когда экран пестрел, кричал вольными сородичами попугая, он напрягался, судорожно перетаптывался, бил крыльями о звонкую решетку и начинал открываться, обозначать себя, что вот он, ря-

дом, подлетайте к нему, сделайте милость, прихватите его с собой в эту вольготность и естественность жизни! Но попугаев сменяли змеи, носороги, слоны, пингвины — все они жили по своим природным законам, и Сарабан отворачивался, но горбатой своей спиной чувствовал более родное в экранном обмане, чем то, в чем он жил сейчас.

Врагов у него почти не было, кроме огромной стерилизованной кошки, съедавшей в день по банке кошачьей тушенки. В кошке сочетались лень и свирепость. Большую часть своей суточной жизни она спала, но спала по-звериному чутко: стоило появиться на территории усадьбы сородичу-чужаку, как в ее большом лоснящемся теле напрягался каркас мышц, она бесшумно выпружинивала на волю, нападала на пришельца, будь то кот или кошка, и рвала их игольчатыми когтями. Иногда кошке удавалось проникнуть через приоткрытую дверь веранды в зал, и тогда в ней возбуждался охотничий азарт: кошка прыгала на стол, со стола — на книжную полку и с полки грузно обрушивалась лапами на клетку с попугаем. Клетка падала, катилась по полу, попугай истошно кричал, бился о прутья, кошка старалась лапой, словно рыболовными крючьями, зацепить его за раскинутое крыло, но кто-нибудь из дворни вбегал на крик и спасал попугая. После этого попугай пребывал в стрессе: он то замирал надолго, а то вдруг начинал выкрикивать разные шершавые звуки, биться крыльями о прутья и безудержно какать.

Алмасарида устраивала дворне разгон, допытывалась, кто оставил открытой дверь на веранду, и в конце месяца вычитала из зарплаты штраф.

Невзлюбил попугая и охранник, а по совместительству истопник и дворник Саша. Ему было далеко за пятьдесят, худой, желчный, говорил он звонким четким голосом, речь протравлена матерной пересыпкой. Алмасарида строго внушила ему, чтобы при попугае никаких громких, а тем более нецензурных слов не было.

Саша, наверное, как и все современные дворовые люди — этого неожиданно возродившегося класса, не привыкшего еще к глубинному, нутряному почитанию своих хозяев — внешне соглашался с приказами хозяйки, а внутренне материл ее и попугая, заодно весь их род до

седьмого колена, и смиренно принимался выметать садовые дорожки. Когда в его смену — а дежурил он посуточно с Аристархом — приходили вечером убираться в комнатах две женщины: медсестра из районной больницы и учительница из средней школы, он говорил им: «Этого черта кормите сами...» Учительница и медсестра мыли и чистили многочисленные комнаты, дозированно сыпали попугаю витаминный корм. Когда темнело, накидывали на клетку покрывало и тихонько покидали усадьбу. За свою уборку получали они раза в два больше, чем на своих основных работах. У них были семьи: пьющие мужья, идиотистые детки, в общем, жизнь с надрывом, как и у большинства проживающих на Руси. Глядя на роскошь, которую они вылизывали, учительница и медсестра понимали: они живут неудачную жизнь.

Саша отыгрывался, когда хозяйка уезжала по делам в Москву. Он заходил в зал к попугаю, садился в глубокий кожаный диван, закуривал душистую до отвращения хозяйкину сигаретку, пуская дым в клетку, говорил с едким удовольствием: «Кур-рва! Срань тропическая! Расщеперился! Все засрал! Вон жратвы понакупили сколько, все пакеты иностранные. А для чего ты вообще? Ты вот крикаешь, сучара, лупетки на меня выкатил, и что? Думаешь, я перед тобой ползать буду? Насыпать бы тебе мору крысиного! Кур-рва...»

Аристарх, принимая смену от Саши, замечал, что попугай нервничает: вскрикивает, бьет крыльями. Аристарх к попугаю относился равнодушно, как и к любой домашней птице. Он прикидывал, какую выгоду можно извлечь из этого каприза хозяйки — и находил. Частенько говорил Алмасарида, что попугай, видимо, простудился, у него хрипы и кашель. Хозяйка давала деньги на ветлечебницу и лекарства, и Аристарх через день-другой благополучно избавлял попугая от мнимых болезней...

7

Воронов обошел зал, привыкая к вещам, пробежал глазами по корешкам книг на стеллажах, отметил несколько незнакомых имен. Попугай искоса следил за ним. Воронов сел в крес-

ло перед клеткой и сказал вразяжку: «Здравствуй-те! Я бу-ду чи-тать ва-ам сти-ихи!» — и начал читать наизусть, конечно же, Пушкина. «Прощай, свободная стихия...» Почему Воронов начал с этого стихотворения — трудно сказать. Видимо, была в этом какая-то закономерность, применимая к настоящей жизни попугая.

Воронов читал нарочито медленно, наблюдая за реакцией птицы.

Попугай прислушался, потоптался на перекладине и вдруг, повернувшись к Воронову, закивал своей клювастой головой.

Прочитав Пушкина, Воронов взял с полки томик Вознесенского и, манерно обкусывая фразы, с выкриками стал читать поэму «Мастера». Попугай напрягся, потом закачался с лапы на лапу и стал истошно кричать, заглушая чтение. Не понравились попугаю рифмы Вознесенского.

От стихов Ахмадулиной, а читал их Воронов, подражая чтению поэтессы, зауньвно, с легким подвывом, теряясь в бессмыслице словосочетаний, но выдерживая музыку фраз, попугай приуныл, нахохлился и едва не свалился с жердочки: видимо, задремал.

И так день за днем. Воронов с утра снимал покрывало с клетки, подсыпал корм в блюдечки, менял воду и начинал занятие. Он учил попугая здороваться, проговаривал обиходные тексты, читал стихи. Делал то, что, наверное, делают домашние учителя лоботрясистых пацанов, относящихся к учебе, как к болезненным уколам: не хочется, а надо.

Алмасарида подходила к попугаю вечером, после руководства рестораном. Кричала с высокого крыльца Аристарху: «Аристарх, крапиву!» Аристарх с сутулой озабоченностью спешил в глубь огорода к пустырю, рвал охапку изумрудной, ядовито-бархатной крапивы. Запаривал крапиву в тяжелой дубовой бадье, минут через десять разбавлял запар до шестидесяти градусов и сообщал хозяйке, что настой готов.

Алмасарида уже полуотонула в кресле напротив клетки с попугаем, вытянув отекие венозные ноги. Аристарх аккуратно ставил ведро к ногам Алмасариды и минут на тридцать удалялся на расстояние слышимости приказа: «Уберите ведро!» Алмасарида опускала ноги в зеленый запар, окутывала колени шерстяным пледом и начинала разговаривать с попугаем. Он знал го-

лос хозяйки, перехватывал перекладину, переминался и однажды вместо привычного карка и хрипа он четко, словно в металлическую трубку, сдушенно высипел: «Здра-авствуйте...»

Алмасарида была в восторге, и Воронов от неожиданности на миг почувствовал себя чем-то вроде укротителя.

Была ли личная жизнь у Алмасариды? Конечно, была. Но эту стихийность нельзя было назвать размеренным семейным проживанием возрастной дамы с положением и деньгами.

В тот период, когда работал Воронов, два раза в неделю к усадьбе подъезжал черный джип, из него выходил большой лысый мужчина. Алмасарида встречала его на высоком крыльце. Она улыбалась, от нее на весь двор пахло необычайными духами. В зале во все окна загорался свет, сквозь голубые шторы легким звоном пробивались ласковый сдвиг хрустальных фужеров, бас мужчины и смех хозяйки. Нензойливо играла музыка, в дальнем окне ненужно бликовал огромный телевизор, включенный, видимо, для создания маленького тайного праздника.

Через некоторое время свет в зале гас, но вспыхивал в спальне на втором этаже. Воронувшись двумя прозрачно-желтыми тенями, свет сникал и здесь... Спустя полтора-два часа свет загорался в обратной последовательности: сначала в спальне, потом в зале. И опять играла музыка, звенели бокалы, бликовал телевизор. Свидание заканчивалось: мужчина, поддерживаемый Алмасаридой, выходил на крыльцо, наугад шупал ногой ступени, словно входил в воду. Отпущенный хозяйкой мужчина вытягивал вперед обе руки и короткими шажками на подломистых ногах бежал к воротам. Воронов, предупрежденный Аристархом об этих визитах, распахивал ворота, и мужчина выпадал из усадьбы в распахнутую дверцу джипа, заблаговременно подогнанного к воротам.

Впрочем, иногда мужчина не выходил вечером на высокое крыльцо, видимо, по причине ослабления организма, а выходил рано утром, и уже без поддержки широко и ровно покидал усадьбу.

С наемными работниками Алмасарида расставалась легко. За малейшую провинность — расчет. Впрочем, и от нее, плюнув, уходили затурканные и обозленные часто непонятными ее желаниями наемники.

Агроном-цветовод, приглашенная для посадки цветов и экзотических кустарников, истово взялась за дело и по-научному выверенно посадила дорогие растения на участке. Алмасарида, похаживая по лужайкам и тропинкам, попыхав сигареткой на веранде, решила сделать пересадку уже на второй день. Агроном, женщина в годах и привыкшая делать свое дело основательно и надолго, попробовала отговорить хозяйку, но получила в ответ внушение, что, мол, на своей земле я что хочу, то и изобретаю. Агроном вместе с присланным на подмогу Аристархом пересадила растения, как пожелала Алмасарида. Но еще через день хозяйка решила вернуть растения на прежние места. Агроном, услышав это повеление, побледнела, сняла рукавицы, сказала кротко: «Знаете что, вы можете издеваться над природой, но только без меня!» И ушла.

Цветы пересаживал Аристарх. Он копал ямки там, где показывала ему Алмасарида, и ставил в них корзинки с искусственными цветами. Хозяйка с веранды оценивала будущую посадку и если оставалась довольной, то Аристарх вкапывал живые цветы.

У Алмасариды он взял деньги на «чудодейственную» для корней смесь, которая, по его словам, оживит любой обрубок. Чудодейственная смесь Аристарха состояла из золы, которую он нажег у себя в огороде из спеленного тополя и двух ведер перегноя из компостной ямы. Смесь эту он затарил в бумажный мешок с английской цветной маркировкой. Мешок он выловил в мусорном ящике около магазина в торговых рядах. Эту «золотую» по цене смесь он и сыпал с видом знатока в цветочные и кустарниковые ямки. От такой агронауки кое-какие растения прижились, а многие погибли. Конечно, досталось Аристарху от хозяйки, но его трудно было смутить и возмутить чем-либо. Он понимал, что с пересад-

ками Алмасарида не права, но перечить ей никогда бы не посмел, и не от страха, конечно: чем уж очень страшным она могла напугать его? А от какой-то нутряной субординации, как условия жизни в данный момент. Может быть, это чувство прижилось у него с армии, где тупой командир, но — командир! Глуповатая в житейских делах хозяйка, но она — хозяйка! Просто нужно суметь извлечь из этого выгоду.

9

В разнообразии современных дворовых людей можно выделить две самые многочисленные группы. Первая — охранники. Отторгнутые от родовых мест, стекаются молодые мужики из нищих сел, поселков, городков в столицу и большие города. Развращенные вольным бездельем, шальными рублями, высиженными в тепле и чистоте, в отглаженной форменной одежде, толкуются эти бесчисленные «сутки через трое» во дворах и прихожих новорусских особняков, магазинах и офисах, дневных и ночных клубах, отелях, ресторанах и гостиницах, впитывая мускулистым естественным наркотический дурман чужой сладкой жизни, и уже через короткое время чувствуют себя приобщенными к медовой жизни и яростно защищают ее от посягательств. Они при исполнении, они получают жалованье, именно жалованье, а не заработную плату. Им жалуют деньги за охрану добра от проданного, прокрученного, перекупленного, украденного. Приезжают парни в жалкую, запитую, расхристанную провинцию на отдых, сорят деньги, если не семейные, а при семьях создают короткий достаток и, выпив, хвастают чужой счастливой денежной жизнью тех, кого они берегут и охраняют. Сами пораженные, пытаются и слушателей поразить беспредельностью лихой дури своих хозяев, невиданной роскошью обитания их во дворцах и особняках.

Вздыхнет мать, выслушав своего здоровенного сына: «Как хорошо, Ваня, что ты за эту работу зацепился. Смотри, не потеряй ее...» И отец поддакнет: «Не дай бог воротиться сюда, на мое место. Я весь изломался на полевых работах,

живого места нет. А ты хоть поживешь...» И живет Ваня, качая мышцы и захламывая мозги. Выпаривает в хозяйских банях остатки пращурной совести, которая без принуждения передавалась ему из поколения в поколение, истончаясь и убывая, пока на последнем Иване не фукнула окончательно парным облачком.

Другая группа дворовых — это люди зрелые, брошенные в нужду временем. Они из социализма: из обеспеченности, уважения и самоуважения. В большинстве своем они ненавидят то, что делается сейчас с их жизнью. Но их житейский опыт говорит — надо вживаться, приспособливаться, извлекать, хитрить. Они не брезгуют никакими приработками, потому что всегда знали: деньги достаются трудно.

Аристарх и был из этой группы дворовых. Он по своему природному человекознанию и сметке определил характер хозяйки, вычленил слабые стороны и пользовался этим для своей не алчной, но стабильной выгоды.

10

В глубине усадьбы стоял деревянный двухэтажный домик, обитый пролаченной рейкой, с широкой верандой, резными наличниками на окнах и грузной, красного кирпича, трубой — это была баня. Внутри тоже все было широко, удобно, комфортно: печь для сотворения пара, деревянные полки на десяток голых тел, лохани из липовых досок для запаривания веников и смешивания травяных настоев для банного суслу, которое плещут на раскаленные темно-свинцовые камни дикари, а они отрыгивают в потолок порции пронзительно пахнущего, удушающе-горячего пара. Рядом с парилкой — деревянная купель с холодной водой, душевые кабины для последнего обмыва истерзанной жаром плоти. И предбанник, похожий на малый зальчик уютного ресторана, с лавками по стенам, широким столом в центре, на котором пузато золотился ведечный самовар, тоже с травяным настоем. Напитки — в холодильнике, простыни — в шкафах.

Мы знаем, что в таких заведениях решаются личные, общественные, политические, хозяй-

ственные, любовные дела. Не знаю точно, но, наверное, только в частных банях России прямое назначение этих заведений не является главным. Так и в бане Алмасарида в чередовании охов, кряков, стонов, блаженстве опотеваний и смывов, истовых ошлепов распущенными вениками и лежания в прохладных простынях на сосновых лавках самопроизвольно решались дела, которые никак невозможно было бы решить в чопорных кабинетах местных начальников.

Были в этой бане и привозимые сыном Алмасарида московские бизнесмены, члены различных ассоциаций, клубов, партий, врачи, поп-деятели, экстрасенсы, предсказатели, колдуны и прочие шарлатаны. Были даже члены правительства: отставные и ныне действующие. Одних сын привозил для утряски текущих дел, других — на всякий случай, про запас, авось пригодятся...

А для продвижения дел районного масштаба Алмасарида обмывала местных властворящих. И в этот вечер в баню были приглашены председатель районного суда: женщина нервной испитой худобы, на маленькой сухонькой головке всклоки искусственно закурявленных волосиков, редких, тоненьких, закрепленных в торчок какой-то импортной парфюмерной мастики. Волосики не прикрывали коричневую от краски, пористую, словно на пасхальном яичке, кожу головы и выпуклый, несоразмерно лицу высокий лобик, из-под которого глядели мышшиной пронзительности жесткие ядрышки глаз. И с ней глава налоговой службы района: округлая, полная, громкоговорящая, хамоватая, с неожиданным залившимся смехом.

С полудня Воронов, по просьбе Алмасарида отвлеченный от попугая, начал топить баню. Он делал это первый раз в жизни и если бы краем уха не слышал, как Аристарх учил Сашу: «За топку делай берестой, а там кочегарь на всю, дров не жалей...», то не знал бы, с чего начать.

Березовые дрова занялись быстро, и часа за два температура на градуснике в парилке поднялась до ста градусов.

На столе в предбаннике прислуга расставила банки с медом, самовар с травяным настоем, на

блюдечках — размоченные сухофрукты, в заглотившую хохломскую вазу нагромодили яблок, груш, винограда. Выложили на лавки махровые полотенца и простыни.

Все было готово к приему полезных гостей, и они пришли. Но не сразу в баню, а сначала — в зал, где был сервирован стол с напитками и закусками. Гости выпили по стопочке лечебной настойки, рекомендованной им Алмасаридой, и совершили экскурсию по особняку. Завершилась экскурсия у клетки с попугаем. Женщины с таким искренним любопытством разглядывали и обсуждали птицу, что их возбуждение передалось попугаю, и он издал звук, похожий на шипение открываемой бутылки с газированной водой. Алмасарида уверяла женщин, что попугай может здороваться и читать стихи. Но судья и налоговица, громко удивляясь, про себя не поверили ей. Алмасарида почувствовала это и просила попугая сказать что-нибудь: «Ну, Сарабанчик, ну скажи — здравствуйте! Скажи...» Но попугай отвернулся и даже не косил на них глазом.

Воронов всего этого не видел: обливаясь потом, гнал температуру до ста двадцати. Сидел перед печкой и шерудил кочергой в топке.

Повторив по стопочке, женщины прошумели в баню. Словно не заметив мужчину, стали раздеваться на лавках перед парилкой, говорили о чем-то своем, похихатывая и поохивая, и словно не существующий для них Воронов отводил глаза, стараясь не смотреть в их сторону. Так мерзко он себя еще никогда не чувствовал. Мгновенный взгляд отпечатал в памяти увядающее естество этих женщин: целлюлитно-подрагивающие комки двух тел и третья — жилистое, в сплошных ребрах и торчащих костях тельце судьи. Уксусный запах пота... Женщины скатывали с себя пропотевшее нижнее белье, словно тесто в жгуты, и бросали на лавки. Голые, они прокультыхались перед застывшим Вороновым в парилку, через секунду завизжали от восторга.

Алмасарида, обхватившись простыней, держалась и недовольным голосом выговорила Воронову о том, что Сарабан заупрямился и не порадовал гостей ни единым словом. «Волнуется», — попытался оправдать попугая Воронов.

«Он должен говорить со всеми, кого я приг-

лашаю, а я приглашаю достойных людей!» — внушительно сказала Алмасарида. Перед дверью в парилку она скинула простыню и, сверкнув широкой, с отвисшими лемехами лопаток, спиной и не менее широким и отвисшим задом, скрылась в парной.

Воронов ушел из бани в сторожку. Во рту слиплись привкусы кислоты, дыма, теплого сала, когда хозяин только что зарезанного поросенка перекидывает парные куски с ладони на ладонь, перед тем как швырнуть их на весы. Выпил подряд два стакана воды, прилег на диван и задремал, не предполагая, что жизнь его через несколько часов круто изменится...

Долго и с удовольствием мылись женщины. Натирали тела медом, как показывала Алмасарида, изливались сладким потом, пили травяной отвар, лежали в простынях на лавках, снова шли на полоч греться и потеть — видимо, надеялись за один прием кто похудеть, а кто и омолодиться. А когда, наконец, истомленные, до детской розовости промытые, завершили банную процедуру, то снова были приглашены к столу, за которым их напаренный аппетит разгулялся вволю.

Сарабан, казалось, дремал, но, когда женщины от выпитого и съеденного возбудились, стали говорить слишком громко, хохотать во все свои фарфоровые зубы и даже рассказывать похабные анекдоты (особенно много знала их председатель суда), попугай забеспокоился, затоптался на жердочке, сипнул, крикнул, привлекая к себе внимание. Все трое замолчали. Алмасарида подошла к клетке, дыхла меж прутьев винно-табачной смесью, невяственно учувствованной людьми, но мгновенно воспринимаемой животными, попугай вдруг восторженно, радуясь силе своего голоса, познанию неведомого языка и умению воспроизвести его, с полотняным шумом раскинул зелено-желтые крылья, слегка разомкнул перекрещенный клюв и громко, с перекатом выкрикнул: «Кур-р-рва!» Подождал, пока краска схлынет с лица Алмасариды, и повторил трижды без пауз: «Кур-р-рва! Кур-р-рва! Кур-р-рва!»

Налоговая начальница не поняла значения этого слова, судья ей объяснила: «Птицы, как и люди, всего наслушаются».

Алмасарида накинула на клетку покрывало, но попугай продолжал из темноты бесновато выкрикивать: «Кур-р-рва! Здр-р-равствуйте! Кур-р-рва!»

Вечер был испорчен. Гости засобирались уходить.

Почему уроки Саши попугай усвоил лучше? Трудно сказать. Может быть, слова, произносимые Сашей, ближе природе попугая, кто знает?

На следующий день Алмасарида дала Воронову расчет. Получил он полностью все, что было обещано за два месяца, хотя неделю не доработал. Причину увольнения Алмасарида Воронову не объяснила.

Рассказал о хулиганской выходке попугая Аристарх: «Он теперь, как ее увидит, так курвой и обзывает...»

А еще через два месяца Воронов узнал от Аристарха, что попугай погиб. «Хозяйка его в подвал спровадила, а там кошка добралась, горло перекусила. Видно, попугай за правду пострадал...» — хитро подмигнул Аристарх.

Больше Воронов никакую другую работу не искал. Обходился уроками в техникуме, да и жена пристроилась в химлабораторию местной ветлечебницы, жить материально стало полегче. И чем дальше уходило время работы репетитором, тем чаще вспоминал Воронов попугая. Он приходил в память неожиданно: на уроках литературы, при чтении стихов, вдруг вставало в глазах это скрюченное существо, обреченное на клеточную неподвижную жизнь. И какое-то родство ощущал Воронов с этой неподвижной жизнью птицы. И его жизнь неподвижна в своем однообразии. Застывшее время. Чередование одноликих сонных дней. И самоубийственный крик попугая в этой сонности, словно отчаянный крик русского мужика, стиснутого ночной тоской, с высокого балкона в безлюдную улицу, затянутую провинциальной, тягучей, как клей, жизнью: «Казлы-ы! Я зде-е-есь!» А в ответ шелест и шуршание, легкий ход равнодушного ветерка, запах простора с дальних околиц, а дальше приступочек леса и шаг в выпуклое фиолетовое, как омут, небо. Такое небо видел Воронов с мансарды Алмасаридиногo особняка.

Хоть город и небольшой, но Воронов увидел Алмасариду только лет через пять. Он был поражен. Все порочное, что скрывалось внутри этой женщины и что маскировалось природной красотой, после семидесяти стало выползать на лицо: вместо губ появилась изломистая презрительная складка, и даже европейские протезы, вживленные на место порченных с молодости зубов, не в силах были сохранить форму губ от проседания. Ввалились и щеки, утратив былую упругость и розовость. Жизнь уходила с лица, оставляя после себя скомканный лист вылинявшей на солнце кожи. И глаза, они словно очистились от мыслей, застыли в холодной серости. Алмасарида еще пыталась эмоциями оживлять лицо: растянуть губы в улыбке, передернуть щеками, изображая восторг, удивление или презрение, и это ей на короткое время удавалось, а вот глаза — из них потихоньку выползала жизнь, и оставалось единое, постоянное теперь холодное отрешение — признак скорого ухода из жизни. С каким отчаянием она пыталась удержать в себе остатки молодости: врачи, диета, пластика, массаж — все теперь было доступно ей — напрасно, истончалось время, отпущенное Богом для земной жизни. О душе она не думала, в Бога не верила. Иногда в разговоре, сотворив какую-либо коммерческую сделку и объясняя,

как трудно это ей далось, она вставляла: «Ведь боженька-то все видит...» На этом ее вера и заканчивалась. Но подыгрывала высокопоставленным чиновникам, когда они посещали город и отстаивали службу в каком-нибудь из приходских храмов. Они окидывали себя невнятными перекрестиями, бодая сложенные в щепотку пальцы, и она, глядя на них, воровато натягивала на себя крестное знамение.

Такой увидел Воронов Алмасариду. Они стояли в одной толпе, и она то ли сделала вид, что не узнала его, то ли действительно не узнала. И больше он ее не видел.

Некоторое время спустя прошел слух по городу: в особняке ночью случился пожар. Сосед, страдающий бессонницей от запоя, видел, как в полночь в открытое окно третьего этажа влетела красно-зеленая птица, и после этого полыхнуло. Мужичку, конечно, не поверили, но стали случаться пожары и в других богатых домах, и начинались они с невесты откуда взявшейся красно-зеленой птицы, похожей на петуха.

Воронов, единственный человек в городке, знал, что это летает попугай Сарабан, которого он учил говорить на человеческом языке.

□

Павел Леонидович ПАРАМОНОВ

родился в 1949 году в с. Подолец Гаврило-Посадского района

Ивановской области.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, журналист.

Автор книг: «Огородники» (1985), «Урок музыки» (1986),

«Повести» (1991), «Души летящие» (2010).

В журнале «Север» публикуется с 1984 года.

Член Союза писателей России.

Живет в Суздале.

